

18+

Франциска Эрмлер

АРСЕНАЛ

АЛХИМИЯ РИЖСКОЙ ПЕЧАТИ

РИЖСКИЙ
ДЕТЕКТИВ

Франциска Эрмлер

Арсенал. Алхимия рижской печати

«ЛитРес: Самиздат»

2019

Эрмлер Ф.

Арсенал. Алхимия рижской печати / Ф. Эрмлер — «ЛитРес: Самиздат», 2019

Знакомство с героями рижского детектива – студентом Андреем Ванагом, скульптором Александром, адвокатом Салевичем. Основана премия для рижских художников «Рижская печать», но на открытие выставки номинантов куратор не является, один из номинантов погибает при загадочных обстоятельствах, у всех на глазах упав с крутой лестницы, да и сама история основания премии и номинирование именно этих художников окутаны тайной, и задать вопросы некому...

Содержание

| | |
|-----------------------------------|----|
| Камни | 7 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 28 |

*Восходит солнце огибая сосны
что к озеру стоят вплотную
день прожив падает оно в морскую глубь за горизонтом
нас оставляя в черной темноте страдать и нить
так солнца отделяет друг от друга
ночь темная где есть лишь лунный свет
а влага что поила днем растила цвет
тут ночью остужает кровь и ноги сводит в лед
так Рига нас молотит души проверяя
есть ли там хлеб добротный из чего ей печь
чем накормить тех кто еще к дороге зреет
и дух чей вынужден здесь будет ночевать и тлеть*

О

трыв

Пора. Пора уже. Я всматриваюсь в стрелки часов. Пора. Время, когда перед самым закатом все краски вдруг вспыхивают ярче. Женщина, сидящая со мной рядом, напрягается. Ее губы шепчут слова молитвы, пальцы сжимаются, она вот-вот перекрестится. Я прикрываю глаза, отворачиваюсь. Начинают реветь двигатели нашего самолета, мы выезжаем на взлетную полосу, и я с неожиданной для себя самого нежностью беру соседку за руку, в глазах сорокалетней испуганной женщины читается благодарность.

– Спасибо! – пытается прошептать она, но пересохшие губы не издают ни звука. Я снова зажимаюсь. Все сжимается до размера точки: гудит мотор самолета, рижские башни раскачиваются, точно пасхальные качели, лицо матери, потемневшее от подозрений, вдруг озаряет улыбка, отец, движимый внезапным порывом беспокойства, протягивает мне руку, которая превращается в кисть госпожи Вилмы, изящным движением наливающую в чашку черный дымящийся чай; испуганное, по-детски заплаканное лицо Ясины исчезает за обрызганными грязью дверьми трамвая, смыкающимися с жестким машинным скрипом; какие-то холсты, фарфор, мебель – все вдруг закручивается гигантским волчком, обращается в зонт, взмывающий ввысь. С яблоневых ветвей осыпаются плоды и падают в траву возле нашего дома в Межапарке, в маслятах копошатся червячки, испуганно вскрикивает бабуля Лилиана, поскуливает наш лабрадор Джерри... и тут все ломается, сжимается, становится размытым и в одно мгновение выплескивается. Я уже в воздухе – свободный, опустошенный и... до горечи одинокий.

Голос женщины, сидящей рядом, вновь обретает звучание и начинает бубнить и бубнить что-то, потом наконец стихает. Моя рука, которую она выпускает, безвольно падает мне на колени. Женщина, благодарная за поддержку, заботливо укрывает меня моим же свитером и оставляет меня в покое. Я погружаюсь в дремоту и за миг до того, как совсем уснуть, успеваю увидеть внизу то, что называют Ригой. Сгусток уплотненной ткани, из которого метастазами тянутся серые шоссе, стараясь захватить последние зеленые островки парков. Точно такой сгусток, очень похожий на тот, что выел желудок моего отца. Жадные клетки, разросшиеся в его теле, захватили и высосали все живое. Такой же точно алчный, неумолимый злодей пожрал и легкие госпожи Вилмы. И рядом с этим спутанным серым узлом – море черноты, большая вода, темная и пугающая своей непостижимостью и необъятностью, куда не уставая несет свои волны Двина.

Но все продолжается только миг – солнце проваливается в мглистую дыру между туч, и картина моментально меняется. Рига вспыхивает всей мощью электрического освещения, преобразившись в золотой клубок сияющих ниток, которыми вспыхнул минуту назад казавшийся неживым асфальт. Нити тянутся к очагам тьмы – недавним зеленым островкам, еще секунду назад казавшимся последними бастионами живого. Зато черная бездна залива не утратила

своей мощи и теперь выглядит еще более мрачно и устрашающе. Вид сиротливых, затерянных в безбрежности черноты огоньков кораблей, ожидающих в рейде своего захода в порт, лишь усиливает чувство потерянности в невесомости. Свет преобразует. Тьма преобразует. Что есть истина? И кто есть мы сами? И для чего, для чего мы создаем эти клубки света, клубки тьмы, чтобы затем умирать, хватая ртом каждый глоток свежего воздуха, забываясь, ища кратковременного спасения кто в морфии, кто в богеме? Милосердные облака прикрывают все. Мы оторвались. В очередной раз оторвались от земли.

Камни

Мой отец поступил умно, умерев еще до того, как началась вся эта морока с капитализмом. Он умер как честный советский инженер. Его поминки проходили в типичном кафе того времени, конечно, не лишенном определенного рижского шарма. Мать, опрыскавшись духами *Chanel № 5*, добытыми по огромному благу, принимала соблезновения и время от времени слабо улыбалась *товарищу по работе*, с показной услужливостью хлопотавшему, заботясь, чтобы блюда вовремя подавали и убирали, а опустошенные бутылки заменяли полными. В его жестах читалось что-то заискивающее и холопское, трудно было определить, где заканчивалось преклонение перед вышестоящей и начиналось ухаживание.

Оскар, брат отца, с женой, госпожой Вилмой, сидели в конце стола и казались чужими на этом пире во время чумы, где присутствующие давно позабыли о причине встречи, увлеченные дегустацией деликатесов, наслаждаясь иностранными винами. Они были единственными представителями родни со стороны отца: всех остальных давно отсеяли по причине их бесполезности. Но и эти двое не вписывались в картину хмелеющего застолья, которое медленно, но неумолимо возвращалось к бурлящей мути страстей. Родные отца, чем-то напоминавшие серые ледниковые валуны, не походили на остальных, они держались обособленно в этой начинающей размякать компании. Все больше и больше они напоминали камни, характерные для местного ландшафта, которые ни расколоть, ни убрать с поля. По правде говоря, хотя моя мать и поставляла госпоже Вилме французские духи и итальянскую обувь, эти двое так никогда и не признали избранную моим отцом жену, теперь уже вдову. По их мнению, моя родительница была простовата и являла собой типичного «работника торговли». Да и без слов не оставалось сомнений, что они видели в моей матери лишь особу, которая испортила жизнь отцу. Их неприязнь осознавал даже я своим детским умишком, будучи полностью поглощенным мальчишескими проделками. К тому же мать после каждого их визита кипела негодованием и в выражениях не стеснялась. А вот меня дядя с тетей, наоборот, любили: наверное, потому, что своих детей у них не было. Иногда они брали меня на дачу, в видземскую Юрмалу. Как сейчас вижу: мы на похоронах сидим напротив друг друга, я, десятилетний пацан, уминаю мороженое, глядя на тетю Вилму и дядю Оскара. Они неподвижны, с очень прямыми, словно высеченными в камне, спинами, глубокие, как мне тогда казалось, старики, не притрагиваются к еде...

– Заглядывай как-нибудь в гости! Ты ведь теперь единственный продолжатель рода! – Было видно, что дядя Оскар обдумывал эту фразу на протяжении всех поминок, как ясно было и то, что после смерти отца семейные связи вряд ли будут поддерживаться по инициативе моей матери. И они поднялись, чтобы через минуту раствориться в дверях кафе.

Я вспомнил о приглашении ровно шестнадцать лет спустя, когда мать, успешную бизнесвумен, нашли застреленной в ее гамбургской квартире вместе с любовником, моим ровесником.

Мать была миловидной женщиной с пышными формами, которые сохранила, несмотря на новые стандарты красоты. В этом явно был и здравый смысл, потому что подобное постоянство в то время, когда люди в лучшем случае торговали мечтами, а в худшем – просто позитивным мышлением, не имея к нему ни малейшей склонности, внушало доверие. Сколько себя помню, она излучала энергию, деловитость и не забывала о макияже. Меня растила бабушка. Она следила за тем, чтобы я был накормлен, а моя одежда – чистой и выглаженной. Бабушки не стало вскоре после смерти отца, и ее место заняла домработница Лилиана, такая же хлопотливая и заботливая. Вскоре я начал звать ее просто *бабулей Лилианой*. Она внесла в наш дом свой аромат, преображая все, к чему прикасалась. Поначалу она даже пыталась нас одевать и стричь. Но поскольку их с матерью вкусы катастрофически не совпадали, произошла пара

словесных перепалок, во время которых мать четко обозначила место и обязанности Лилианы, и та сосредоточила свою деятельность исключительно в пределах кухни.

– Подстригаю морковь и начесываю картошку, – отвечала она, вспоминая свою работу примером и парикмахером, когда я, вернувшись из школы, спрашивал, чем она занята.

Если говорить про мои отношения с матерью, то с ней я всегда был вежлив, не более того. «У тебя как, все ОК?», «Как долетела?» – и так далее. Своих любовников она неизменно представляла мне как *помощников*. Помощником назвала и последнего. Он мне даже понравился. В детстве мы с ним играли в хоккей в одной команде. Я был вратарем, а он нападающим. Все считали, что у него хорошо получались неожиданные обманные подачи. Поэтому его постоянно блокировали и закрывали. Но меня ему обмануть не удавалось, потому что я раскусил, что он, несмотря на то что был нападающим, не старался создавать свою траекторию, а только придавал другой масштаб уже полученной подаче. Точно так же теперь судьба его, со свойственной ей иронией, провела линию подачи через жизнь моей матери, потому что сомнений, что именно она, а не он, была целью этого убийства, не оставалось.

Похороны матери прошли тихо-мирно. Я пришел на них один – не приводить же с собой кого-нибудь, на чьем плече можно выплакаться. Тем более женщину. С женщинами я вообще предпочитаю говорить поменьше. Может быть, потому, что моя сексуальная жизнь началась в шестнадцать лет с проституткой, к которой меня привела мать, больше всего боявшаяся, чтобы я под воздействием гормонов не вляпался в историю с девицей из порядочной семьи – «домашней девочкой», как она таких называла. Меня она родила в семнадцать. Отец познакомился с ней, когда служил на Дальнем Востоке. В увольнении он встретил ее на железнодорожной станции – девушка опоздала на поезд, благодаря чему вышла замуж и переселилась в Прибалтику. Теперь они будут покоиться по соседству: я похоронил мать, согласно выраженному когда-то желанию, рядом с мужем, несмотря на их религиозные противоречия. В другом государстве такое было бы невозможно, но только не в Риге, не на Лесном кладбище. Отец был из латгальских католиков, которые после войны перекочевали из своей деревни в Ригу. А мать лет пять назад, как я понял, после того как удачно провернула какую-то подозрительную сделку, приняла православие. Я же так и остался некрещеным и латышом. И теперь, стоя у могилы родителей, я задумался, из каких соображений меня в свое время отдали в латышскую школу. Должно быть, на этом настоял отец. Но единственный человек, с которым я в нашем доме разговаривал по-латышски, была бабуля Лилиана, теперь стоявшая напротив меня с другой стороны могилы, обтянутая черным кружевным платьем, из которого она опять выросла. Лилиана старательно крестилась, привычным движением поправляла венки, пристраивала цветы, непрерывно повторяя одну и ту же фразу: «Такая молодая и померла, а я, старуха, все живу и живу!» Я холодно взглянул на нее, и она стихла, продолжая нервно комкать сухой платочек.

Когда яму засыпали, с другой стороны отцовской могилы взору открылась могила дяди Оскара. Значит, он умер, так и не повидав единственного продолжателя своего рода. В изголовье могилы вздымался камень – редкого зеленого, даже оливкового цвета гранит. Глядя на него, я вспомнил, как дядя Оскар учил меня различать камни. Он даже подарил мне коллекцию образцов камней с собственноручно приклеенными этикетками. Одна сторона у этих образцов была отшлифована, а другая сохраняла естественный вид.

– Мастер должен узнавать камень, еще когда тот лежит в земле. Отшлифованный узнает и лавочник, – он мне оглашал свой очередной постулат из тех, которые он как бы совершенно безобидно, но настойчиво старался заложить в фундамент строения моей жизни.

Позже, когда я уже был подростком, эти камни таинственно исчезли с моей полки в книжном шкафу. Бабуля Лилиана утверждала, что их стащил мой одноклассник, бывавший тогда у нас в доме. И сейчас, глядя на гранит, я вынужден был признать, что тетя Вилма отнеслась к увлечению мужа куда серьезней, чем я. Надгробный камень изысканного оливково-зеленого

цвета, должно быть, найти было нелегко, очевидно, ей пришлось приложить немало усилий. Я догадался, что гранит привезен с Украины.

Шагнув ближе к надгробию, я прочитал надпись. Под датами рождения и смерти дяди Оскара было выгравировано имя госпожи Вилмы и дата ее рождения – для года смерти оставлено место, из чего я заключил, что в ней еще теплится жизнь, хотя и она пребывает в ожидании неизбежного. Ну что ж, разумно.

Поминки на этот раз не были предусмотрены. Мы с адвокатом матери, тем самым «товарищем по работе», ассистировавшим ей на похоронах моего отца, опрокинули по сто граммов и расстались. Мать не оставила завещания. Однако в свое время она иногда вызывала меня, просила подписать какие-то деловые бумаги – у нас с ней были разные фамилии и разное гражданство, что для бизнеса матери иногда оказывалось полезным. Адвокат, придав лицу профессиональное выражение озабоченности и сочувствия, пообещал в течение ближайших недель разобраться с делами по наследству и дать мне знать. Больше говорить нам было не о чем.

Тогда я вспомнил о сухих глазах бабули Лилианы и ужаснулся собственной тупости. Я не сказал ей главное, что она ждала. Я набрал ее номер и сообщил, что для нее со смертью моей матери ничего не изменится. Пусть она только не забудет вовремя кормить Джерри, нашего лабрадора. На другом конце провода послышались всхлипывания: наконец-то появился повод увлажнить слезами тот самый сухой платочек.

В

стреча

На сороковой день, когда мы с Джерри приходим на могилу матери – ведь я не такой уж и неблагодарный сын, – там стоит госпожа Вилма. Спина ее все так же пряма, а выражение лица непроницаемо. По нему невозможно догадаться, узнала ли она меня спустя столько лет, ведь в нашу последнюю встречу я был еще пацаном. Я здороваюсь, и госпожа Вилма отвечает легким кивком головы.

– Андрей, приходите ко мне на чай, – произносит она наконец, когда мы, постояв в молчании минут пять и понаблюдав за суетой Джерри, вместе направляемся к выходу. До сих пор не понимаю, какого черта я принял ее приглашение.

С госпожой Вилмой в тот краткий период детства, когда мы с ней виделись, я говорил исключительно по-латышски. В отличие от бабушки и бабули Лилианы, она живо интересовалась всем, что связано именно со мной, а не моим питанием и одеждой. Ей скорее хотелось знать, как варит мой котелок, вернее, что в нем варится, если, конечно, что-то варится. Ведь разница огромная – варится или просто булькает. И еще она не хотела меня приглаживать или подстригать, как моя мать, которую волновало единственно, чтобы в моей жизни ничто не вылезало за пределы нормы, особенно чтобы я не переступал черту, после которой начиналась уголовная ответственность. Как я теперь понимал, госпожа Вилма старалась нащупать меня во мне самом и для этого подергала все мои внутренние струны, остановившись на самых чистых звуках из тех, что ей удалось выудить.

Отведя Джерри домой, я спустя пару часов сижу у госпожи Вилмы в квартире, перегруженной всякой рухлядью – антиквариатом и живописью. Госпожа Вилма – искусствовед, поэтому все, что здесь собрано, создает особую атмосферу, для обозначения которой лучше всего подойдет слово «вдохновение».

Итак, я сижу на необычном, но неудобном кресле, потому что по тем же рецептам госпожи Вилмы собранная и отвечающая стандартам госпожи Вилмы мебель к комфорту не располагала – к удобствам тяготеют только мещане, то есть конченные люди. А в это время мой телефон с отключенным звуком раскаляется от звонков Евы. Евой зовут мою бывшую сокурсницу, стремившуюся принять самое горячее участие в моей жизни. И сейчас главным предметом ее забот стало мое успешное окончание занятий юриспруденцией, затянувшихся на семь долгих лет. Я позволял ей опекать себя, продолжая в одиночку посещать ночные клубы. Есть

такие женщины. И есть такой я. С безудержным влечением к дайвингу – до сих пор он оставался единственным, что меня занимало, учеба в круг моих интересов не входила. Эту струну я нащупал самостоятельно, когда после падения железного занавеса и внезапно распахнувшихся границ мать меня первый раз отвезла в по-настоящему теплые и прозрачные моря. Так продолжалось до тех пор, пока мать, полгода назад заметив, что я хожу в шапке даже в теплую погоду, не затащила меня к врачу. Она с подозрением относилась к моим новым привычкам, а надеть на меня шапку даже в детстве в самые лютые морозы ей удавалось только с большим трудом, иногда – лишь прибегнув к телесным наказаниям. Доктор, исследовав мои уши, категорически рекомендовал бросить подводные развлечения, если я не хочу полностью потерять слух. Пока я определялся с выбором, моя мать проявила явную однобокость и, в отличие от меня, постановила, что терять мой слух не собирается. Последовала череда ультиматумов, и среди них прозвучал самый мощный – она покончит с собой. Меня это поразило, потому что такую угрозу я слышал от нее впервые, и я сдался. Так я вернулся к изучению юриспруденции.

Госпожа Вилма наливает мне чай, чашку за чашкой. Когда одна чашка оказывается пустой, госпожа Вилма отставляет ее в сторону и, словно фея, извлекает из буфета новую и чистую. Я, непонятно почему, объясняю ей, что никогда не хотел стать юристом, что это было только идеей фикс матери. Закончив свой монолог, я, к собственному удивлению, объявляю, что собираюсь бросить университет и вообще наконец-то найти себя. Госпожа Вилма, пока я рассказываю, все время молчит. И вдруг, без всякого перехода, предлагает мне проводить ее на открытие выставки. И я, снова неожиданно для себя самого, без каких-либо колебаний соглашаюсь.

– Аусма уберет... – Госпожа Вилма указывает на стол, и мы, оставив груды чашек и пустых, и с недопитым чаем в творческом беспорядке, как художественную инсталляцию, выходим из дома.

Наше путешествие продолжается десять минут. В поездках по центру Риги единственная сложность состоит в том, чтобы найти парковку. Госпожа Вилма выбирается из моей потрепанной бежевой «хонды». Мать не покупала мне новую машину принципиально. Началось все с того, что в меня с жуткой силой влюбилась Эльвира. У нее были большая грудь и вообще хорошее тело и море страсти. Она захлеб дышала, захлеб любила меня, как это умеют делать лишь женщины с сильной примесью Востока в крови. Но однажды, когда она была у меня, не успев отдышаться после очередного путешествия, домой вернулась мать. И Эльвира задала роковой, как оказалось, вопрос: «Когда же вы все-таки купите Андрею новую машину?»

Мать попросила меня сходить за сигаретами, хотя на кухонном шкафчике валялся целый блок. Возвращаясь, в дверях подъезда я столкнулся с Эльвирой, взбешенной и растрепанной. «Настоящая ведьма!» – прошипела она сквозь стиснутые зубы и с этими словами исчезла из моей жизни навсегда.

С матерью у меня после этого состоялся *серьезный разговор*, как она называла такое промывание мозгов. Она говорила, а я молчал. Помня о рассказах матери, что ее отец был золотоискателем, я так это и воспринимал – как тяжелую и монотонную работу, когда обнаружение самородка граничило с чудом. Подобных эпизодов, когда мать промывала мне мозги, было много, все они ушли в небытие, расплылись и распозлись, забылись начисто. Однако в тот раз разговор материализовался в ее решении: никаких новых машин мне не видать, девицы мои в начале знакомства обойдутся троллейбусом и дешевыми мотелями. Рекомендовалось, так сказать, истинность чувств испытывать не разлукой и временем, а бедностью и дешевизной реквизита.

Выслушав наказания матери, я продолжал возить своих девушек на такси в пятизвездочные отели, ибо меня волновали не столько чувства, сколько качество матрасных пружин. Однако же из всех материнских советов в памяти моей отложился именно этот самородок, добытый в банальном сюжете с Эльвирой.

Госпожа Вилма, обутая в туфли на высоких каблуках, крепко держа меня под руку, идет со мной рядом. Когда тебе за шестьдесят, цокать на шпильках по булыжникам Старой Риги не так-то легко.

На голове у нее шляпка немыслимой формы. Венчающие ее зеленые перья в точности повторяют цвет краев накидки. Вспомнив памятник дяди Оскара, я внутренне усмехаюсь: «Был ли этот оливково-зеленый выбором покойного каменотеса или все-таки женский каприз его благоверной?»

В целом госпожа Вилма напоминает и осанкой, и движениями персонажей немого кино. Достаточно было бы включить ускоренную прокрутку нашего похода – и вот готовый фильм двадцатых годов прошлого века. Тетя неожиданно спотыкается, я вовремя ее подхватываю и вдруг соображаю, почему она до сих пор выглядит столь женственно. В своем почтенном возрасте госпожа Вилма сохраняет талию. Не помню, чтобы когда-либо видел таковую у матери, не говоря уже о бабуле Лилиане. В этот миг мне почему-то становится настолько нехорошо, даже откровенно жутко, что, будь моя воля, я бы развернулся на 180 градусов и сбежал. Но я не разворачиваюсь и не сбегаю, а довожу госпожу Вилму до места. Так происходило всегда. Госпожа Вилма была и остается единственной женщиной, рядом с которой я говорю все, что хочу, а делаю то, что хочет она, но не я.

В

зойти на небо

Госпожа Вилма приводит меня к бывшему Арсеналу, где теперь находится выставочный зал. Двери его настежь распахнуты, мы входим, я слегка смущаюсь. Внутри – толпа народа. Люди обводят оценивающим взглядом каждого входящего. И к нам тут же обращаются десятки любопытных взоров. Эффект усиливают направленные на входные двери прожекторы и вспышки фотоаппаратов. Крутые широченные ступени лестницы, изогнутой на середине, кажется, ведут прямо в небо. По лестнице спускается мужчина весьма представительного вида с барышней при полном параде, которая ему улыбается и заискивающе взмахивает конским хвостом прически, точь-в-точь как мой Джерри.

Дама в парике сомнительного качества подходит к госпоже Вилме и начинает что-то взволнованно шептать ей на ухо. А чуть поодаль от нее я замечаю Ясмину. Ладно, я этого еще не знаю, но ее в самом деле именно так и зовут. Ясмина, абсолютный эталон красоты, поправляет свои волосы и смеется. Смеется звонко и мелодично, так, что каждая нота ударяет мне прямо в сердце. В свои почти восемнадцать, с прямыми длинными волосами, с чем-то эксклюзивным из перьев и пуха вокруг шеи, поистине лебединой, она смеется, слушая странноватого и причудливого типа, явно нетрезвого. Он тоже посмеивается, и нетрудно догадаться, что говорит ей нечто не слишком пристойное. Слипшиися волосы торчат из-под его кепки, скрывающей, скорей всего, плешь. Ясмина водит носком туфельки по полу и смотрит ему прямо в глаза. Госпожа Вилма отпускает мою руку. И меня начинает нести, как если бы меня подхватила внезапно отколовшаяся льдина, и, разумеется, уже через полминуты я обнаруживаю себя возле Ясины. Спросить, который час, было бы глупо, но лучше идей у меня нет, приходится обойтись без вступлений, идти напролом. Спустя мгновение я уже знаю ее имя, знаю, что она внучка какого-то Эрглера и что вот-вот, прямо сейчас она должна произнести речь. А самое главное, что она – не художник и сама в таком обществе оказалась впервые.

Особняком стоит бородатый человек, которого, точно лепестки ромашки, окружают дамочки в туфлях на шпильках, прихорошившиеся, с намеком на элегантность. Среди них резко выделяется одна особь, явно инородное тело, не то колобок, не то бочонок в одеянии с черными лацканами, но, несомненно, принадлежащий к женскому полу, с красным лицом, на коем ясно читается: «Водочку употребляем еще перед завтраком». Именно это бесформенное чудо с очевидными признаками разложения личности нарушает мнимую гармонию, царящую

в кружке, где лицемерно демонстрируется восхищение, и является истинным дыханием искусства. Если подойти к этому с позиции госпожи Вилмы, то именно этот бочонок повышенного кровяного и греховного давления, готовый вот-вот лопнуть, и являет собой несущий жизненные соки стебель этой компании.

Бородач, центр этой вселенной, стоит рядом с ними, но как бы совершенно отдельно. Но и безо всяких пояснений очевидно, что их мир вращается вокруг него. Я неловко сторонюсь, пропуская даму с тростью, и чуть не спотыкаюсь, однако успеваю ухватить за руку Ямину, и меня пронзает чувство, будто я вернулся в школьный шестой класс. Мне хочется кричать и прыгать. Ясмине вздрагивает, словно ее ударил невидимый порыв ветра, но она мгновенно овладевает собой, улыбается и, взяв меня за руку, ведет к картинам и выставленным перед ними странным чучелам.

– Идея премии принадлежит моему деду. Мы подшучивали, что он хочет заткнуть за пояс Нобеля, а он, представляешь, так рассердился, что чуть не лишил нас наследства! Он основал эту премию и... и умер полгода назад... – Ясмине надо собраться, чтобы закончить фразу, и ее серые глаза застит мгла, совсем легкий туман, но она ему не поддается и договаривает: – Но премия живет...

Бог знает, что это за премия. Но не могу же я признаться, что не знаю, куда и зачем пришел, а потому пытаюсь как-нибудь постепенно разобраться в происходящем. Из обрывков разговоров я наконец-то выясняю, что все тут собрались из-за премии, которая объявлена впервые и будет присуждаться раз в семь лет. И сегодня назовут лауреата. Основал премию владелец сети аптек Эрглер, недавно скончавшийся. Он прослыл большим знатоком искусства. В зале выставлены работы, претендующие на награду, но почему выбраны именно эти картины именно этих художников, никто толком не знает. Несмотря на такое небольшое замешательство, мероприятие стало событием, разворошившим и пробудившим весь этот змеиный клубок, который копошился тут в этот темный осенний вечер, и напряжение растет на глазах. Ясмине с ходу мне жалуется, что совершенно незнакомые люди то и дело спрашивают ее, что к чему, пытаются выведать, что ей известно. Самое смешное, доверительно признается мне Ясмине, что она и сама знает немногим больше других – дед передоверил все госпоже Майе Каркле, куратору выставки и распорядителю фонда, созданного специально для этой премии, а она до сих пор не появилась и не отвечает на телефонные звонки. Отец Ямины уже отправился за ней.

Я еще раз внимательно окидываю взглядом собравшихся и убеждаюсь, что градус общего нетерпения растет стремительно. Как бы между прочим осведомляюсь о размерах премии. Ясмине называет цифру и, ожидая моей реакции, замолкает. Но я остаюсь невозмутимым – деньги меня никогда не волновали, тем более чужие. Ясмине после небольшой паузы улыбается:

– Ты ведь не художник, правда?

Я киваю. Что тут особенно объяснять. Самое большое искусство – родиться в правильной семье. И нам обоим удалось это сделать.

Я рассказываю Ясмине о дайвинге, о Кипре, где застрял в последние годы, о средиземноморском «Титанике» – судне «Зенобия», к остову которого я не раз доставлял любителей острых ощущений. Затонуть при первом же выходе в море – для корабля судьба не самая обычная. Ясмине смотрит на меня, улыбается, и я готов потопить всю Непобедимую армаду, только бы она продолжала вот так смотреть на меня, с такой улыбкой.

Тем временем броуновское движение публики продолжается. Возвращается отец Ямины, пятидесятилетний, презентабельного вида господин, с короткой стрижкой без единого седого волоска. Несмотря на непроницаемое выражение его лица, становится ясно, что его экспедиция не принесла успеха – он вернулся один. Волнение в зале уже доходит до край-

ней точки. Все затихают, когда госпожа Вилма словно нечаянно подхватывает меня под руку, и мы с ней плавно перемещаемся к сцене, и к нам, точно к магниту, тянутся еще семеро человек.

Среди них и та самая Кепка, пребывающая, точно водоросль, в постоянном движении, даже стоя на одном месте. Рядом с ним располагается бородач из недавнего ромашкового кружка, в черном стильном костюме без галстука и в лаковых туфлях денди. Вот он мельком глядит на зрителей, но тут же отворачивается, так что фотографы, желавшие его увековечить, вынуждены приседать на корточки и всячески исхитряться, как если бы они пытались запечатлеть образ барышни, застенчиво прячущей свое лицо.

Бородач старается держаться на расстоянии от рыжеволосой женщины, облаченной в живописные не то лохмотья, не то бахрому, придающую и ее волосам вид распущенных ниток. Ее можно принять за городскую сумасшедшую, однако каждая деталь обносков на ней тщательно продумана, а выполнены они так искусно, что ее никак не примешь за обычного опустившегося офисного работника. Женщина же, напротив, пытается быть к бородачу как можно ближе. Но внезапно женщина замирает и, развернувшись ко мне, улыбается – так сердечно и искренне, что я волей-неволей должен ответить тем же, несмотря на то что улыбка обнажает бросающийся в глаза просвет, свидетельствующий о недостающей паре зубов в ее верхней челюсти. Станным образом это нарушение стандартов женской красоты делает ее более привлекательной. И неоспоримо доказывает присутствие личности, самобытной и независимой, точно как женщина-колобок придавала своим присутствием подлинность искусства кружку ромашки. К этим двоим слева подплывает рослая полнотелая женщина, темно-красные губы которой наводят на мысль о вампире, только-только оторвавшемся от прокушенной шеи жертвы. В свои тридцать с чем-то лет она явно вызывает к вниманию представителей сильного пола. Вампирша подмигивает мне одним глазом, и по моей спине пробегают мурашки. Рядом с ней появляется хрупкого сложения, невзрачно одетый гражданин, серый настолько, что кажется тенью обладательницы темно-красных уст. К ним мелкими шажками приближается тощее, иссохшее существо с тростью, с грацией сломанной игрушки – то самое, с которым я несколько минут назад едва не столкнулся. Его, точнее, ее поддерживает молодая стройная особа, обритая налысо, с огромными глазами. Наряд ее составляют черные мешкообразные брюки, черная блуза и дорогие туфли, явно чужеродные в этом ансамбле. Последним подходит, точнее говоря, подкатывается к этой компании круглый, как бочонок, мужичок с блестящими щечками, ширинка его брюк расстегнута, однако подобные мелочи, видимо, его давно уже не занимают. Мы с госпожой Вилмой замыкаем фигуру на сцене, геометрическое определение которой дать затруднительно. Что не мешает фотографам ослеплять нас вспышками. Наступает тишина, и госпожа Вилма, окинув взглядом собравшихся, произнесит лучшее, что можно сказать в такой ситуации: «Ешьте, пейте и наслаждайтесь искусством!»

Тем не менее толпа разочарована, по ней прокатывается ропот недовольства. Семеро избранных номинантов топчутся в растерянности, толком не зная, как себя вести. Журналисты набрасываются на госпожу Вилму.

– Скажите, каковы критерии, позволившие номинировать на премию этих, а не других художников? Почему именно Майя Каркла назначена распорядителем фонда? Вы знакомы с Положением о премии? Почему его держат в секрете? Почему награда названа «Рижской печатью»? Кто первый лауреат? Правда ли, что ему будет вручена специальная серебряная печать?

Госпожа Вилма с королевским достоинством молчит, не проронив ни слова, берет меня под руку и больше уже не отпускает, публика начинает потихоньку рассеиваться. Знакомая Кепка снова приближается к Ясмине. Госпожа Вилма обращается ко мне, точно к ребенку, мягким голосом и просит:

– Посмотрим все-таки выставку, а потом ты решишь, что делать. Что тебе делать со своей жизнью.

Я еще успеваю заметить, что Кепка отстает от Ясины и принимается суетиться у стола, складывает *канале* в прозрачный пластиковый мешочек – в таких продают овощи в супермаркетах, – и преспокойно забирает бутылку вина, заодно прихватив два пустых бокала, после чего возвращается, по-видимому собираясь продолжить разговор с Ясиной, но та уже успела раствориться в недрах зала. Однако его такое происшествие, как исчезновение возможного партнера, по всей видимости, не смущает, он разворачивается к крутому витку лестницы, ведущему в соседнюю часть здания, затем, словно на миг вспомнив о мероприятии, поворачивается и виновато улыбается госпоже Вилме.

– Что искать цыпленку в скорлупе, из которой он только что вылупился! Шевелись и клюй! Музейщицы мне говорили, что там наверху освободили пустое помещение – будет хоть где глазам отдохнуть и взять разбег для нового взлета... – И вот он уже карабкается по изогнутой лестнице. Снизу кажется, что Кепка ввинчивается в небеса.

– Он был ребенком и останется ребенком, даже если доживет до девяноста! – тихо обращается ко мне госпожа Вилма. – Хотя, откровенно говоря, дети они здесь все!

Мы идем смотреть, что они натворили на этой площадке, повинувшись своей страсти к игре. Теперь и я задаюсь вопросом: почему выбраны именно эти художники и эти работы, а не другие? За нами следует дама, очень зажатая, в очках, держа в руке надкушенное пирожное. Она ловит на лету каждое слово, произнесенное госпожой Вилмой. Тут моя тетя демонстрирует вершину светского воспитания. Она оборачивается к нашей спутнице, смерив ее таким взглядом, что остаток пирожного выпадает у той из руки. От преследования можно оторваться, если пресечь его подобным взглядом.

Госпожа Вилма останавливается, осматривая объекты, которые я успел окрестить чучелами. Человекообразные фигуры, слепленные из пластиковых бутылок и мешков, вместо членов тела – надутые презервативы, мозги изображены при помощи вентиляторных решеток и бог знает чего еще.

– Живой, как ртуть. Вольдемар был и всегда будет живым, как ртуть. Он исследует все подворотни и чердаки человека и покажет только то, от чего никак не отвертишься, хотя и не очень любишь об этом вспоминать, раньше он использовал для своих фигур бутылочные стекла, газеты и павлиньи перья, подобранные в зоопарке. Он говорил, что нет средств выразительнее, чтобы продемонстрировать ум современного гомо сапиенса. В советское время из-за этих самых газет им не раз интересовались «органы»; со временем кураторы научились прикрывать чем-нибудь безобидным крамольные части его творений. Однажды Вольдемара чуть не арестовали: он в театре, когда там должен был как раз открыться очередной съезд партии, вырезал из занавеса кусок темно-красного бархата! – В этом месте своего повествования госпожа Вилма ставит голосом жирный восклицательный знак. – Но потом его отпустили: было очевидно, что в политике человек ничего не понимает. Когда его вызвали объясняться, Вольдемар начал с того, что попросил партийного секретаря отдать ему свой галстук – видите ли, как раз такой колорит был необходим для его нового гобелена. Такой уж он, таким я его и вижу – в вечной кепке, кажется, приросшей к голове навеки, по крайней мере за те сорок лет, что я его знаю, не видела без нее ни разу. Если премию дадут Вольдемару, он профукает ее в три дня, все бомжи Риги, да что там, все профурсетки напьются вдрызг за его счет! Как раз таким образом он оприходовал свою госпремию. А в те времена за неделю промотать такую сумму было нелегко, можешь мне поверить! Но для энергии Вольдемара пустить на ветер такую кучу денег – раз плюнуть.

Госпожа Вилма величественно кивает седой исхудалой художнице. Та, опираясь на трость, неподвижно стоит возле своих картин и с нескрываемым любопытством разглядывает проходящих. В профиль она напоминает какую-то болотную птицу. Картины за ее спиной не имеют ни малейшего отношения к сегодняшнему дню. Я узнаю на одном из холстов ивы, росшие в парке Виестура в мои школьные годы. Их спилили, когда я готовился к выпускным экза-

менам. Три солнца сияют над головами радостных колхозников, срезанные цветы глядят из керамических ваз огромных форм, которые тоже остались в империи, теперь уже рухнувшей, а краски такие яркие и сочные, что кажется, будто водоразборная колонка шестидесятых годов, присутствующая на одной из картин, выкачала все соки из этой птахи, оставив ее сухой и бесцветной.

– Софья давно уже не берет за кисть, но все-таки, видишь, дожила до своей первой выставки, пускай и коллективной.

Седая женщина устремляет взгляд куда-то вдаль, губы начинают беззвучно шевелиться, словно она говорит с кем-то невидимым. Кажется, больше она нас не видит и не слышит. К ней подходит ее спутница – бритоголовая особа. София резко возвращается назад в выставочный зал, оживляется и улыбается, и тут я осознаю, что какие-то краски в ней все же еще остались – в самой глубине зрачков легкие, едва различимые мазки.

– Это она вывела Софью в свет божий. Настойчивая барышня, пишет стихи. Года два назад появилась у Майи, куратора выставки, и объявила, что сестра ее бабушки – гениальный художник. И впрямь открыла для нас клад, ты ведь тоже видишь, какой она замечательный и редкий колорист. Ее талант не может не заметить даже тот, кто ничего не понимает в живописи. Радость цвета. София ее, эту экстравагантную особу в черном, кстати, вырастила, когда родители девочки погибли. София приходила и ко мне... – Тут госпожа Вилма меняется в лице. Мимо нас проходит Ясмينا, и я чувствую, как в мой локоть вонзаются острые коготки госпожи Вилмы.

– Не теряй голову из-за этой девицы. Она смазлива, богата, но и только.

Мы движемся дальше – к суховатому, жилистому гражданину, похожему на бухгалтера. Все творцы, за исключением Кепки, казалось, теперь сами экспонировались возле своих работ. То, что судьба премии осталась неясной, их, очевидно, повергло в полное замешательство, и они, так и не поняв, за что выдвинуты в номинанты, держатся за свои работы, не то ограждая их от чужих суждений, не то желая услышать, почему именно эти работы отобраны.

А серый персонаж кажется продолжением собственных картин в трех реальных измерениях. Серые линии наложены на бледно-розовый и белый фон, а в углу полотен теснятся блекло-золотые и серебряные символы – чередуются арабская вязь и китайские иероглифы – такие же я замечаю на его манжетах, которые выглядывают из-под рукавов пиджака. Лишь одна его работа резко выделяется из этого ряда – позолоченная свиная голова, правда, настолько стилизованная, что с первого взгляда затрудняешься определить, что это такое.

– Сандро побывал в Индии, Тибете и бог еще знает где, как они теперь это все делают, носятся по миру, как сумасшедшие... Я толком не понимаю, почему Майя определила его в изобразительное искусство, он вполне мог бы претендовать и на какую-нибудь театральную премию – настоящий лицедей! Каких только ролей не перепробовал в своей жизни! Организовывал кинофестивали, семинары по фэншуй, высаживал языческие священные рощи, хотя по образованию и основной профессии он, конечно, живописец. С одной стороны, он ведет откровенный разговор с судьбой, с другой – у него совершенное отсутствие образов в картинах. Искусство ради искусства – ты ведь тоже слышал про это течение аутистов в современном творчестве. Самовыражение ради самовыражения, без мастерства, без техники – голый протестантизм, где каждый чувствует призвание. У Сандро, конечно, в основе есть хорошая школа – мастерство не пропьешь и не раздашь. Но чувство ритма и внутренняя свобода – еще не причина заниматься экспозиционизмом на вернисажах живописи.

К госпоже Вилме подходит Бородач, та самая серединка ромашки. Надо признать, что его харизма оказывает столь же мощное действие и на мою манерную родственницу. Она машинально отпускает мою руку и выпрямляется еще больше. Оказывается, и такое возможно. Госпожа Вилма благосклонно ему кивает и улыбается. Но Бородач изображает искреннее удивление, словно повстречал кого-то чужого и незнакомого, кого видит впервые в своей жизни

и о чьем существовании даже не подозревал, что, учитывая их род деятельности, узкий круг рижского сословия живописцев и возраст, неправдоподобно. Он так растерян, что начинает заикаться, хотя со своими ромашками перед открытием выставки говорил без заминки. А я пользуюсь моментом, чтобы улизнуть. И вот уже через несколько секунд иду рядом с Ясиной в фойе, где столы с закусками и выпивкой напоминают пейзаж после битвы. Без умолку болтая, я, точно аптекарь, накапываю в ее бокал содержимое всех бутылок, на дне которых мне удастся найти хоть что-нибудь, пока он не наполняется почти наполовину. Все начинают медленно, но решительно, как при отливе, двигаться к выходу, жизненное пространство заметно освобождается, и я немедленно заполняю его собой; мне помнится, что я даже пробую станцевать что-то похожее на «Яблочко» и совершенно забываю о госпоже Вилме, выставке и обо всем, потому что Ясмина смеется, глядя прямо в мои глаза. А когда мимо нас проплывает кружок ромашковых лепестков, Ясмина развязным жестом выливает мною таким трудом собранное вино прямо на свое боа из перьев и пуха. Красная струйка стремительно стекает по ее платью на пол.

Мне до боли хочется прикоснуться к этой струйке, и я поднимаю руку. Но Ясмина, даже не заметив моего жеста, взрывается:

– Понимаешь, они... Они... эти лицемеры посматривают на меня свысока! Нет, они, конечно же, сладко улыбаются, преклоняясь, ведь я распоряжаюсь этим фондом, но на самом деле считают меня никем, потому что я не могу с важным видом выдать пару глупостей об этом обо всем! – Она всплескивает руками. – Ну да, я ничего в этом не понимаю, но и не вижу надобности что-то понимать! Я учусь на фармацевта, мне предстоит вести семейное дело!

Дикий крик прерывает ее на полуслове. Мы оборачиваемся и прямо на наших глазах по ступенькам той самой крутой лестницы, словно мячик, подпрыгивая и отталкиваясь на каждом выступе, катится вниз Кепка, то есть Вольдемар. На ступеньках остается кровавый прерывистый след. Я бросаюсь к подножью лестницы, где его кувырки прекращаются, и он, раскинув руки, остается лежать неподвижно. Кепка, слетевшая с головы, подкатывается к моим ногам. «Э, волосы-то у него будут погуще моих!» – проносится у меня в голове нелепая мысль. Останавливается и кровь, которая текла из пореза, – осколком бокала он поранил запястье. Левая рука судорожно сжата, из нее выглядывает голова серебряной змейки. Я наклоняюсь, чтобы проверить его пульс. Пульса нет. Я содрогаюсь – чтобы взойти на небо по этой лестнице, надо было с нее рухнуть.

Ясмина, стоящая рядом со мной, вскрикивает. Я поднимаю глаза и вижу, как наверху, там, где заканчиваются ступени, плавно закрывается дверь. Наступает тишина, к нам со всех сторон стекаются люди, но я все еще вижу перед собой лишь всклокоченные волосы и кепку. Поднимаю кепку и надеваю на голову мертвеца. Свою премию этот художник уже получил. Нашлась лишь одна королева, одна власть, одна в целом свете персона, перед которой он снял свою кепку, – Смерть.

Л

опаются пузыри

Бабуля Лилиана приносит мне кофе и завтрак прямо в постель. Пухлой и заботливой рукой она снимает с моего одеяла одной только ей видимую пылинку. Как всегда, от нее едва ощутимо пахнет корицей.

– Джерри я уже выпустила!

После чего она привычным движением раздвигает шторы, и моему взгляду открывается осень, обыкновенная и в то же время необычная, ибо на этот раз я могу делать все, что взбредет в голову. Но уже в следующий миг меня пронзает мысль: один, один, я один. Не хочу, чтобы в моем доме завелось такое настырное, желающее мне, разумеется, только добра существо с лицом Евы, чьи эсэмэски градом сыплются в мой мобильник. И я вспоминаю Ясмину, финал вчерашнего вернисажа, вызов полиции, санитаров с носилками, беспомощный взгляд госпожи

Вилмы... Но все затмевает только одно – Ясмина. Бабуля Лилиана вглядывается в мое лицо с подозрением.

– Ты часом не влюбился?

– А что, так заметно? – Я и не собираюсь перед ней лукавить.

– И где вы познакомились? Вчера, что ли? Возле того трупца?

Я хохочу, выпрыгиваю из кровати, чуть не опрокинув чашку с кофе. Бабуля Лилиана не изменится никогда – ее ум, острее кухонного ножа, вскрывает любые ситуации, добывая из них сердцевину. Я обнимаю ее за плечи, чмокаю в увядшую щеку, подхожу к окну и распахиваю его настежь.

– И так себя вести после воспаления среднего уха! – Бабуля Лилиана на мгновение замолкает и затем добавляет: – Поверь ты мне, старой: забудь все и всех, кого вчера встретил! Нехорошо это – знакомиться при покойнике!

Объяснять ей, что мы познакомились еще до того, как Вольдемар стал трупом, бесполезно. Она покидает комнату, а я смотрю на Джерри. Пес скулит там внизу, у террасы, с которой еще не убран усыпанный осенними листьями стол. Сто раз просила меня бабуля Лилиана занести его в кладовку. Я закрываю окно и снова падаю на кровать. Ясмина. Есть у нее кто-нибудь? Ясмина. Ясмина...

Меня будит телефонный звонок. На дисплее загорается имя – Ясмина. Набрал полные легкие воздуха, нажимаю кнопку.

– Привет! Это Ясмина. Я тебя разбудила? Сегодня взломали дверь у Майи. Она мертва. Положение о премии исчезло. Я вечером встречаюсь с твоей тетей у нее дома. Ты не мог бы прийти?

Мог бы, конечно. Приду. И тут же раздается новый звонок. Вежливый голос приглашает меня явиться в следственный отдел полиции в 15.00 и письменно дать свидетельские показания в связи с гибелью художника Вольдемара Стабиньша.

В кабинете следователя меня ждет сюрприз. Там за столом сидит мой однокурсник Альф. Старательный и исполнительный, он уже закончил учебу и теперь второй год отдувается в уголовном розыске. Он по-дружески протягивает мне руку, и мы вспоминаем про праздник Аристотеля, который отмечали первого сентября на первом курсе, – в тот раз я его и других студентов нашей группы после окончания праздничной церемонии в Старой Риге притащил к нам в Межапарк, в дом, который мы, основательно обкурившись, чуть не разнесли, после чего моя родительница, вернувшись из очередной командировки, решила, что мне нужно немедленно взять годичный академический отпуск. Она не была готова к столь основательному расширению моего кругозора путем ликвидации стен ее же дома и уничтожения обстановки. Еще немного поулыбавшись, Альф приглашает ладонью волосы, как будто придавая своему виду официальность, речь его становится монотонной – истинный бюрократ. Он аккуратно записывает мои свидетельские показания, особое внимание уделяя эпизоду с дверью, которая закрылась над лестницей сразу после падения гражданина Стабиньша.

– Ясное дело, кто-то был там, наверху, когда он начал свой стремительный полет. К тому же из обоих бокалов, которые он, согласно моему же свидетельству, унес туда, пили вино. Правда, от одного из них остались мелкие осколки, стеклянные брызги, с них даже отпечатки пальцев не снимешь. Вопрос в том, сам он упал или ему все-таки помогли. Но никто из опрошенных не признался, что был там, наверху! – И бесстрастную маску, за которой скрывается лицо Альфа, надламывает крайняя степень досады.

– И с премией этой тоже сплошной говнодел, скажу я тебе, – его тон снова становится непринужденным. – Пропало и Положение о премии. Сын старого Эрглера требует, чтобы было произведено вскрытие тела той дамочки, куратора. И все опять повесили на меня, и плакал мой отпуск. А я обещал жене свозить ее наконец на Сицилию...

Парень и впрямь выглядит несчастным. Видимо, начальство тоже высоко ценит его исполнительность и усердие. А высокая оценка усердия требует все новых и новых усилий для его доказательств.

Попрощавшись с ним, я выхожу на улицу и останавливаюсь у бордового «бентли», только что взятого напрокат – показываться перед Яминой на моей старой «хонде» было стыдно. Минут десять я соображаю, что же предпринять дальше, но решаю плюнуть на это все – какое мне дело, в конце-то концов, до всей этой художественной катавасии? Я еще заезжаю домой, чтобы переодеться в старые джинсы и куртку – во всем нужна мера, при такой машине перебор с одеждой был бы явным проколом стиля.

Трижды объехав квартал госпожи Вилмы, все-таки нахожу, где припарковаться. Выйдя из машины, направляюсь к автомату, чтобы оплатить стоянку, и застываю на месте. По улице прямо ко мне идет Ясмина, но совсем другая Ясмина. Деловая, но элегантная, почему-то вся в черном и даже с портфелем. Она, увидев, как я бросаю талон на переднюю панель машины, усмехается. Хуже того: остановившись возле «бентли», начинает звонко смеяться.

– Похоже, все пижоны Риги стоворились катать меня на этом динозавре. У вас что, клуб любителей «бентли»? Даже номер подобрали специально с моим годом рождения. Кто же тычет женщине в глаза ее возрастом, могли бы из лукавства годик и сбросить!

Я бросаю взгляд на номер – JE1982. Сказать тут нечего. Но Ясмина моего ответа и не ждет. Она разворачивается и направляется к парадной госпожи Вилмы.

– Твоя вчерашняя «хонда» мне больше по вкусу. Это было по крайней мере стильно!

И я, как наказанный хозяином пес с поджатым хвостом, плетусь за ней. Она, несмотря на весь вчерашний ужас, все-таки наблюдала за мной, если уж видела мою «хонду», я себя успокаиваю: значит, я ей тоже запал в сердце. Конечно, ощущение провала остается, но я извлекаю из него пользу, осознавая, что банальные маневры, такие как попытки покрасоваться, пустить пыль в глаза, с Яминой не пройдут, остается только одна возможность – мой личностный рост.

Госпожа Вилма сама открывает нам дверь, ее лицо сохраняет невозмутимость – должно быть, она заметила нас вместе еще на улице из окна. Не проронив ни слова, она проходит через холл и распаивает следующую дверь. В гостиной за чашками дымящегося чая сидят все главные действующие лица вчерашней истории, вписанные в интерьер тетиной квартиры. И я внезапно осознаю, что по уши увяз в искусстве и ничего в моей жизни уже больше не будет как прежде.

– Андрей – мой племянник, – представляет меня госпожа Вилма.

Бородач, одетый на этот раз в свитер грубой вязки, стоит у окна и даже не оборачивается в нашу сторону. Остальные тоже не произносят ни слова. Седая дама, София, сидит в кресле. По соседству, точно ее тень, располагается вчерашняя бритоголовая особа. Я ограничиваюсь легким поклоном и занимаю клубное кресло возле стола. Ясмина остается стоять и оказывается лицом к лицу со всеми остальными как незваный гость, так как госпожа Вилма ее не представляет, а просто ухаживает за новыми чашками. Но Ясмина не теряется, а деловито кладет на стол свой черный портфель, извлекает оттуда пару листков и неожиданно звонко произносит:

– Нам придется познакомиться заново, так как я в настоящий момент оказалась единственным распорядителем фонда, основанного моим дедушкой... дедом... – Она смущается, но продолжает: – Я попрошу вас назвать свои настоящие имена и фамилии, потому что теперь обстоятельства изменились и о псевдонимах и кличках придется на время забыть. Я надеюсь, что в результате нашей встречи мы подпишем общее заявление.

Повисает пауза, во время которой становится слышно, как тикают настенные часы. Возвращается госпожа Вилма с двумя чашками, которые она ставит передо мной.

– Как я поняла, милочка, вы желаете ближе познакомиться со всеми? – госпожа Вилма подчеркнута любезна. – Я сама сейчас представлю вам присутствующих. Сандро, свободный художник... – И она указывает рукой на серую фигуру. Человек этот сидит, втиснувшись в

узкое пространство между массивным кожаным диваном и книжным стеллажом, упершись взглядом в одну точку. Услышав свое имя, свободный художник плотно сжимает губы и по-военному отдает честь, поднеся сложенные указательный и средний пальцы к виску.

– Сандро самолично воплотился здесь и сейчас и к убою готов, – рапортует он.

– София, живописец, – госпожа Вилма жестом указывает на седую даму. Соседка той произносит неожиданно низким голосом, почти басом:

– Выдающийся живописец, вы забыли добавить! Кстати, меня зовут Хлоя. Я поэтесса.

В голосе госпожи Вилмы слышится нетерпение, она называет следующее имя:

– Гулбе!

– Мадара Гулбе, – отзывается дама, та, что накануне была одета в живописные лохмотья. Она привстает со своего места и чуть не опрокидывает чашку чая. Сегодня на ней строгое платье, а волосы закручены в тугий узел на затылке.

– Мадара Гулбе! – повторяет она еще громче. – Уж за столько-то лет могли бы и запомнить мое имя!

Из второго клубного кресла, которое начинает опасно скрипеть, раздается низкий голос, альт:

– Дана! Мое имя – Дана-де! – Вампирша, к вчерашнему образу которой прибавился ярко-красный платок, поднимается и делает шаг к Ясмине, протягивая ей руку. Но тут между ними вклинивается человек-бочонок.

– Эдуард! – он представляется сам, перехватывает ладонь Ясины и подносит к своим губам. – Барышня, с такой красотой не нужно заниматься финансовыми делами! Поручите это мужу или счастливым любовникам. Не стоит тратить юность, а тем более красоту на такую фигню!

Эдуард отпускает руку Ясины так же стремительно, как схватил, и подкатывается к столу, чтобы подлить себе чаю, в то время как Дана-де недовольно и даже обиженно отступает к своему креслу.

Госпожа Вилма поворачивается к Бородачу, продолжающему неотрывно смотреть в окно. Теперь она молчит, дожидаясь от него какого-то знака, разрешения к нему обратиться. Всеобщее преклонение перед его особой, которое я заметил еще вчера, сегодня меня уже раздражает.

– Я вам скажу, отличный барельеф, – произносит он наконец, махнув рукой за окно, и разворачивается лицом к присутствующим. – Меня зовут Александр! – Взгляд его буквально сверлит Ямину, потом неохотно переключается на меня, чтобы впоследствии остановиться на госпоже Вилме как на человеке, главном в этой ситуации. – Нас сюда вызвали. И может быть, уже пора наконец сказать, зачем?

Ясмине, словно ее ожег удар плетью, начинает суетиться, заглядывает в бумаги, которые держит перед собой. Ее пальцы едва заметно дрожат.

– Отец... – покраснев, она сама себя поправляет: – Эрглер-младший сегодня потребовал провести расследование, чтобы выяснить причины внезапной смерти куратора проекта, госпожи Майи Карклы. Как единственный на этот час директор фонда я уполномочена вам сообщить, что присуждение премии откладывается на неопределенный срок, так как пропало и Положение о конкурсе. Собственно, это и есть та информация, которую я была обязана вам предоставить. Хорошо было бы, если бы вы дали расписку в том, что вас об этом уведомили. – Ясмине неловко кладет бумаги на стол и виновато улыбается, как бы приглашая художников поставить подписи.

Сандро, вместо того чтобы подписываться, начинает кружить по гостиной.

– Вы что, хотите убедить меня, что это самое Положение существовало в одном экземпляре? Но каким же образом основан фонд? Его ведь нужно было зарегистрировать как юридическое лицо?

– Мы обнаружили только Устав фонда с самыми общими фразами. Ничего конкретного! Полиция обыскала дом госпожи Майи, но ничего не нашла. Ни записки, ни клочка бумаги, который бы указывал на номинантов, не говоря уже об имени лауреата, – оправдывается Ясмينا.

– Но деньги, обещанная премия ведь целы? – в голосе Мадары проступает отчаяние. – Или их тоже украли?

– С деньгами все в порядке, они лежат в банке на счете! – заверяет Ясмينا.

Накалившуюся атмосферу в комнате сквозняком остужает ветерок облегчения, но воздух тут же сгущается снова, вот-вот разразится буря.

– Просто смешно. Кто-то ведь должен принять решение, и не может быть, чтобы абсолютно никто ничего не знал! – Дана-де вспыхивает, и взгляд ее перебегает с Ясмины на госпожу Вилму, а красные губы делаются почти лиловыми.

– Отпей-ка лучше чайку! – подсказывает Эдуард и сам заботливо подливает кипяток в ее чашку. – Лично я посоветовал бы тянуть жребий или разделить премию по-братски на всех оставшихся прямо здесь и сейчас и закрыть тему! Иначе, так много думая о деньгах, и заболеть можно!

Все смотрят друг на друга, но тут же отводят взгляд и начинают блуждать глазами по комнате. Награда одному была бы целым капиталом, разделенные же на всех – это были бы лишь неплохие деньги. В свою очередь, чтобы согласиться на лотерею, большинству потребовалось бы найти в себе силы отказаться от перспективы получить всю сумму, и, кажется, никто, кроме Эдуарда, к такому повороту здесь не готов.

– Тогда тот, кому повезет, мог бы и с другими, ну, как бы сказать... поделиться, – жалобно, будто забрасывая спасительный круг, высказывается Мадара.

– Но послушайте, у такой значительной премии должен быть какой-то смысл, символ... – вступает в разговор Хлоя, ее взгляд теперь почему-то уперся в нос Ясмины. – Кому-то из клана Эрглеров надо было бы иметь об этом хоть какое-то представление! Учредитель премии ведь не в вакууме жил. У него была семья, и наверняка если он кому-то и рассказывал о премии, то в первую очередь родным.

В этот момент просыпается мой мобильник, и я выхожу на кухню, в то время как голоса в гостиной госпожи Вилмы уже звучат в полную силу.

– Старушку отравили! – Альф обходится без всяких торжественных вступлений. – Какие-то сердечные капли, сильные сами по себе, к тому же лошадиную дозу ей подлили в чай. Ты ведь сейчас там вместе со всеми этими номинантами?

– Ну да, – я, сам не зная почему, вдруг снижаю голос, будто опасаясь, что меня подслушивают.

– Попроси их, чтобы завтра были у меня дать свидетельские показания. Мне нужны и их пальчики, чтобы сравнить с теми, которые обнаружены повсюду в квартире убитой. Я уже посмотрел – трое из них умудрились не зарегистрироваться по месту проживания. Ума не приложу, как это им удалось. Некуда послать повестку. Ну, до завтра, приходи и ты тоже. Надо кое-что обговорить.

– Ладно... – Мой взгляд отмечает, что за окном на асфальт падают и расплываются первые капли дождя. И вот они уже сплетаются в струю, и разражается ливень. Мощные струи со звоном разбиваются о карниз. Дверцы буфета распахнуты, на пыльных полках там, где стояли вынутые теперь чашки, обнаружились темные пятна. Я машинально выключаю газ под кипящим чайником.

С чайником в руке я возвращаюсь в гостиную, где громкие голоса уже успели перерасти в бурную жестикуляцию. Ясмينا смотрит на меня, и в ее взгляде я снова узнаю вчерашнюю испуганную девчущку. И слегка раздуваюсь от собственной важности:

– Всех присутствующих просят завтра явиться в уголовную полицию для дачи дополнительных показаний, дактилоскопии и всего прочего. Выяснилось, что куратор выставки, Майя, отравлена.

Ясмина вскрикивает, Дана-де хватается за руку Эдуарда, Мадара, как в плохой постановке, театрально падает в кресло, Сандро в растерянности начинает чесать подбородок, а лицо Александра становится каменным. София и Хлоя о чем-то шепчутся и, кажется, никого уже давно не слушают.

– Андрей, поставь ты наконец этот чайник, так и обжечься недолго! – Госпожа Вилма улыбается мне из клубного кресла, будто я объявил о приходе весны. Но тут же встает и подходит к письменному столу. Только теперь я замечаю, что под глазами у нее проступают синие круги.

– Думаю, все здесь люди взрослые и понимают: чего-то подобного и следовало ожидать. И если она отравлена, то должен быть и отравитель. – Госпожа Вилма на удивление спокойна и рассудительна.

– А что, если она сама? Сама отравилась? – голос Мадары почему-то становится совсем уж жалобным, как у попрошайки.

– Я вчера перед тем, как поехать на кладбище, – госпожа Вилма улыбается мне вновь, но на этот раз сочувственно, – заглянула к Майе. Не похоже, чтобы она собиралась умирать! Она примеряла кружевное платье. Черное, которое ей так идет, не так ли, Сандро? Как она тебе показалась? – Ее взгляд обретает змеиную холодность: – Ты ведь был у нее?

Сандро, как пойманный с поличным вор, неловко усмехается.

– Да, я тебя тоже видел, но мне не хотелось разговаривать, поэтому я зашел в соседний магазинчик. – Помолчав, он добавляет: – Ну да, я хотел узнать, кому достанется премия. У меня тут рядом были кое-какие дела, вот и подумал: дай зайду, может, вечером мне и незачем идти на вернисаж, только без толку время терять. Но Майя решила сохранить интригу до конца и не сказала мне, кто лауреат. Однако, когда я ее покидал, Майя была жива и здорова. Правда, платье на ней действительно почему-то было черное, точно на похороны собралась. В таком возрасте с черным надо поосторожнее. Я сказал – пусть хотя бы пришиллит красную розу! И она нашла – точь-в-точь такую, как у Даны...

Все глаза обращаются к красной розе Даны-де, мятые шелковые лепестки которой она теперь пытается прикрыть таким же красным платком.

Но ей удастся быстро оправиться от смущения. Дана-де выпрямляется, поднимается во весь свой могучий рост, демонстративно открыв брошь-розу, ярко сверкнувшую в свете люстры.

– Не собираюсь отрицать – я была вчера у Майи по тому же поводу, что и вы все! И пусть только кто-нибудь попробует сказать, что перед открытием выставки его у Майи не было! А роза – моя! Моя! Я сама ее еще месяц назад подарила Майе, но вчера она вернула мне брошь, сказав, что это не для ее возраста!

– Милочка, никто ведь не думает, что вы убили Майю из-за брошки, – в голосе госпожи Вилмы явно слышится насмешка.

Но Дана-де, оставив без внимания ее сарказм, стоит на своем:

– Вчера все там были!

И правда, лица собравшихся выдают, что они действительно накануне побывали у Майи. За исключением Ясины, которая после таких откровений выглядит растерянной и совсем напуганной.

– Когда я уходила, та серебряная змейка, что Вольдемар сжимал вчера в руке, была еще на печати. А печать стояла на письменном столе у Майи. Так что Вольдемар последним вчера был у нее! – не выдержав, неожиданно проговаривается Мадара.

Александр, за все это время не вымолвивший ни слова, вдруг поднимается и выходит из комнаты. Слышно, как за ним захлопывается дверь квартиры. На мгновение в комнате наступает тишина, столь глубокая, что тиканье часов кажется неуместно громким, как барабанный бой. Сандро кидается к окну, открывает его и, высунувшись по пояс наружу, кричит:

– Ты, воображала сраный, вернись сейчас же! Кинем жребий и прекратим тянуть эту волюнку, пока кто-нибудь из нас не стал очередным трупом!

Госпожа Вилма медленно подходит к окну и, отодвинув Сандро, закрывает створки. Сохраняя молчание, она направляется к двери гостиной и, распахнув ее, встает на пороге, выразительно приглашая гостей покинуть дом. И это уже не какой-то прозрачный намек, а приказ хозяйки. Эдуард еще успеваает в последний момент схватить с тарелки печенюшку с той явной жадностью к жизни, какую демонстрировал на протяжении встречи, кидает ее в рот, словно завершая этим штрихом свой образ.

Гости один за другим направляются к выходу, я тоже. Но, когда я прохожу мимо госпожи Вилмы, она берет меня под руку, и в голосе ее снова звучит детская беспомощность:

– Останься-ка.

И я только успеваю заметить, как Ясмينا, перед тем как закрыть за собой дверь, оглядывается и выжидающе смотрит на меня. Госпожа Вилма тщательно закрывает двери гостиной перед моим носом, и теперь я в западне. Подойдя к своему клубному креслу, она погружается в него, словно проваливается, как измученный человек проваливается в сон. Казалось, еще немного – и она совсем утонет в кресле, но в какой-то момент погружение все-таки прекращается.

– Я знала Майю больше пятидесяти лет! Ты представляешь, как это долго? Ты ее не помнишь? Она иногда приезжала к нам в Юрмалу. Оскару она не нравилась, но это... это уже другая история. Майя была старше меня. Мы познакомились с ней, когда поступали в Москве в художественный институт, нас, как землячек, поселили в общежитии в одной комнате. И после этого тридцать лет мы еще жили на одной улице! Все время рядом! Смотри! – И она вновь поднимается, вынырнув из трясины кресла, подходит к окну, рукой указывает на дом напротив: – Это окно, видишь? Там ее кабинет. Возле барельефа, первое окно слева.

Я тоже подхожу к окну, чтобы оценить лепнину, богато украшавшую дом напротив. Типичный рижский модерн. Но замечаю лишь Ясмину, дрожащую от холода возле моего красного «бентли». И снова оживляется мой мобильник, я в надежде услышать голос Ясины выскакиваю в прихожую. Но звонит всего лишь юрист, адвокат матери. Его голос вежливый, но достаточно строгий, без заискивания, это не предвещает ничего хорошего.

– Андрей, я, к сожалению, должен сообщить, что после удовлетворения требований кредиторов практически ничего не остается. Вашей матери в последнее время не везло, она произвела несколько неудачных вложений. Правда, есть еще дом в Межапарке, но он ведь, кажется, вам уже подарен? По поводу него тяжбы не будет...

Я обнаруживаю себя сидящим на столике в прихожей – почва уплыла из-под моих ног. Хотя мне тут же показалось, что я ожидал услышать нечто похожее все эти дни после смерти матери. Дом в Межапарке... Сразу вспомнилось: однажды мать повезла меня к другому адвокату – оформлять дарственную на этот самый дом. Вспомнился и сам адвокат, седой и холодный, как вечность. Кажется, он рассчитывал и юридически оформлял каждое свое движение, каждое слово. Не человек, а воплощение закона и ответственности, нечто неумолимое и непреклонное. Помню, я тогда резко осознал: может быть, моя мать и позволяла многое своему «товарищу по работе», но до конца ему не доверяла. Когда дело коснулось того, что ей по-настоящему важно (а что может быть важнее кровя над головой единственного ребенка?), она выбрала адвоката другого уровня. Так ведь было и с отцом, его непрактичность не помешала матери понимать, что именно тут – настоящее и подлинное. Несмотря на кажущуюся хаотич-

ность и беспринципность, с судьбой она никогда не флиртовала и не заигрывала. Выйдя в тот день из адвокатской конторы, она меня спросила:

– Тебе что-нибудь говорит имя Салевич?

– Ну, я все-таки учусь на юрфаке, – я сделал вид, что чуть ли не обиделся. – Там это имя всем и каждому что-то да говорит. Едва ли не самый знаменитый адвокат Риги и самый таинственный тоже. Чувак почти не выступает в суде, но есть слушок, что он стоит за почти всеми важными решениями. По косвенным признакам я бы предположил, что он самый настоящий крестный отец мафии.

Во взгляде матери проступила усталость.

– Мальчишка ты, кина насмотрелся! Он дела так устраивает, что потом по судам ходить незачем. Во всяком случае, это был он... – Мать резко оборвала разговор, и мы больше к этому не возвращались.

Итак, единственное, что мне осталось, – дарственная, заверенная тем самым Салевичем. «Мафиози». Если что, придется обращаться к нему. А у меня нет даже его телефона.

Маслянистый голос «товарища по работе» пресекает поток моих воспоминаний, вернув меня в квартиру госпожи Вилмы и в суровую реальность.

– Так что претензии кредиторов к этому дому, скорее всего, не последуют...

Поскольку я продолжаю молчать, он делает еще контрольный выстрел:

– С вашей-то стороны, надо думать, претензий тоже не последует?

Слова адвоката врезаются в мою голову пуля за пулей. А перед глазами дрожит какая-то розовая пелена, которая постепенно перекрашивается в темно-красное пятно, что я видел на фотографии у следователя с места убийства матери, а в ушах почему-то звучит сказанное матерью лет пять назад возле трапа самолета: «Тебе надо идти своей дорогой, в деловом смысле ты совсем не в меня».

– Конечно, – подтверждаю я. И кровавое пятно перед глазами растворяется. Масляный голос с нескрываемым облегчением подытоживает:

– Мы не сомневались, что вы хоть и человек молодой, но разумный... – И в трубке раздается прерывистый сигнал.

Я чувствую на лбу прохладную ладонь госпожи Вилмы и ухватываюсь за нее, как утопающий за соломинку. Лопнули все пузыри, все оказалось только пузырями. Пузырь премии, пузырь моей легкой... легкой жизни. Я любил пускать такие мыльные пузыри в детстве вместе с госпожой Вилмой, которая и теперь рядом со мной. И я начинаю возвращаться на землю.

Вот уже час я сижу в клубном кресле госпожи Вилмы. Она подливает мне чай, я выпиваю его и снова молчу. Вода вокруг меня смыкается и темнеет, я погружаюсь все глубже и глубже, и тут меня пронзает откровение: кислородного баллона со мной нет. Фобия, мучившая меня, когда я только начал нырять. Я собираюсь с силами, возвращаюсь, чувствуя себя выжатым как лимон. Госпожа Вилма делает вид, что не замечает, как я беспомощно барахтаюсь и хватаю ртом воздух. Она подходит к тому самому несчастному окну, затем оборачивается ко мне и улыбается.

– Гол как сокол?

– Да. Похоже, они меня кинули... – Сам удивляюсь, каким твердым и низким голосом, почти басом я это произношу. – Правда, у меня еще остается дом в Межапарке.

– Попробуй увидеть во всем и хорошую сторону. Если бы она тебя втянула во все это, ты, возможно, лежал бы теперь в могиле рядом с ней. А так ты жив, молод, и к тому же у тебя есть дом! Это большое богатство. Как мать при жизни она не сумела дать тебе главного – хорошего воспитания, что было необходимо, она не создавала необходимых и посильных трудностей. Зато ее смерть подарит тебе их с лихвой. Из пуховой постельки без какой-либо подготовки прямо в пропасть. Вот уж истинно славянская душа!

Я толком не понимаю – комплимент это моей матери или упрек, однако высвобождаюсь из объятий клубного кресла и направляюсь к дверям, но госпожа Вилма опять успевает схватить меня под руку.

– И что ты собираешься делать?

– Что? А вот разберусь с этой чертовой алхимией. С вашими художественными смертями. Госпожа Вилма вздрагивает и с неприязнью спрашивает:

– Это из-за нее? – и в голосе тети я слышу нотку материнской ревности, которая моей матери была как раз несвойственна, но которую я не раз наблюдал со стороны родительниц моих друзей по отношению к их избранныцам.

– Нет, из-за себя! Я все-таки юрист. Последний академический отпуск, помнится, я взял как раз во время практики, а теперь я ее пройду.

Госпожа Вилма затихает, а меня начинает нести.

– Не вы ли с дядей Оскаром учили меня в детстве, что по-настоящему твое – только то, что делаешь бескорыстно? Я хочу найти того, кто все это сотворил. Кто сегодня, в двадцать первом веке, заявляется в гости, чтобы подсыпать отраву в чай хозяйки, кто сталкивает с лестницы конкурента, а затем мирно водит кистью по холсту или обжигает фарфор! Хочу вывести на чистую воду хотя бы одного негодяя, и заметь – из уважения к нему! УВАЖЕНИЯ! Вместо того, чтобы искать и объясняться с кретинами, которые, сидя за компьютером, гоняют и переводят сумму за суммой и, доведя ее до шестизначной, кончают себе в кулак, чтобы потом подослать к моей матери киллера из стрелялок, которого потом тоже прикончат где-нибудь в пабе во время просмотра футбольного матча с пивной кружкой в руке! И я никогда не смогу доказать связь между этими кретинами и этим пьянчугой, потому что у меня за спиной не стоит сеть хакеров и шпионов! Никогда!!! И все, что мне остается, так это принять христианство и надеяться на Божью кару, ведь я не имею права обвинять в смерти только на почве полученной выгоды. При таком простом раскладе мне бы надо было казнить себя первым – я, как ни крути, получил домик в Межапарке.

Выпалив все это, я выхожу за дверь. Госпожа Вилма кидается вслед за мной и беспомощно останавливается на лестничной площадке. Я шагаю вниз – не ждать же мне ее жалости. Спустившись на полэтажа, слышу, как она зовет меня. Перегнувшись через перила, она заявляет:

– Андрей, я... Я заказываю тебе это расследование. Как детективу.

Мне хотелось бы по-пацански ей нагрубить и покончить с этими тонкостями отношений навсегда, но лицо госпожи Вилмы выражает такое волнение и искреннюю озабоченность, что я опять поддаюсь ее очарованию и по-детски сломленным голосом произношу:

– Спасибо!

– У тебя есть главное, что нужно в расследовании, – уважение к презумпции невиновности!

Я больше не могу ничего произнести, иначе расплачусь, как ребенок, только киваю головой и продолжаю спускаться по винтовой лестнице, постепенно успокаиваясь. В конце концов, у меня есть бабуля Лилиана. У меня есть Джерри. И это уже кое-что. Особенно учитывая, что на мой банковский счет на Кипре в день смерти матери поступили от какой-то там очередной *Limited* 108 тысяч евро. Сто восемь – несколько странная сумма. Моя мать не была ясновидящей и, по мнению госпожи Вилмы, не слишком задумывалась о воспитании сына, об ожидающих меня безднах. Зато она как честная женщина знала с точностью, что за все в жизни надо платить.

108

шагов

Это произошло январским утром во время школьных каникул, когда меня отпустили в гости к однокласснику в Юрмалу. Не знаю, какая муха меня укусила, но, проснувшись ранним

утром в чужом доме, я тихо собрался и, не став никого будить, направился к железнодорожной станции, откуда в неотапливаемом, промерзшем вагоне уехал домой. Когда я зашел в переднюю нашей квартиры, первым, что я заметил, были мужские зимние ботинки 43-го размера, каких в нашем доме после смерти отца не бывало. Мой взгляд замер на катышках шерстяной отделки внутри ботинок, наверное, я так простоял довольно долго, пока удивленный возглас бабули Лилианы не пронзил утреннюю дремоту нашей квартиры:

– Солнышко, ты почему так рано?

Но я, не слушая ее, опрометью бросился в спальню матери, где мой взгляд опять уперся в раскиданную повсюду мужскую одежду. Мать в постели была одна, но я отчетливо слышал, что в ванной комнате рядом льется вода. Я машинально собрал все эти чужеродные для меня предметы – брюки, рубашку, галстук – и, распахнув окно, вышвырнул их на проезжающую часть улицы – в то время мы еще жили в центре города. Я с наслаждением смотрел, как одежда медленно надувается, словно паруса, и достигает земли, а рубашка расплывается на проезжающих внизу «жигулях». Доехав до перекрестка, водитель остановился на светофоре, выскочил из машины и, потрясая кулаками в мою сторону, сорвал рубашку с дворников и кинул в мусоропровод, в которое неизбежно в городе превращался даже самый белый снег. Я и теперь помню то глубокое наслаждение, какое охватило меня, когда я наблюдал, как несомненно дорогая импортная рубашка превратилась в обыкновенную тряпку. В часть уличной грязи. Тогда я закрыл окно и повернулся к матери, которая уже встала с кровати и надела шелковый халат. Она смотрела мне прямо в лицо с неподдельным удивлением:

– Хочешь стать вожаком стаи? – в ее голосе зазвенела откровенная насмешка. – Но это надо заслужить.

И она, сунув мне в руку ключи от своей машины, почти вытолкнула меня из квартиры.

– Я буду через 15 минут, жди меня в машине!

И она действительно через пятнадцать минут пришла, села на водительское сиденье и, взяв ключ, который я ей молча протянул, завела мотор. Когда мы уже проехали квартала три, она наконец заговорила:

– Драться с ним действительно было бы тупо, вы пока еще в слишком разных весовых категориях. Но ты мой сын, и мне надо дать тебе возможность.

На следующем перекрестке она достала из своей сумочки черный платок, который был на ней в день похорон отца, и протянула мне.

– Завязывай глаза! – приказала, и я подчинился. Надо отметить, что она проверила, плотно ли я их закрыл, несмотря на то что машины сзади уже оглушали нас гудками нетерпения, ведь мы остановились на перекрестке оживленной улицы и мешали движению.

– Если ты пройдешь 108 шагов с завязанными глазами, останешься в нашем доме единственным... мужчиной.

И машина тронулась с места, дальше мы ехали в молчании, только играло радио, и я запомнил, как диктор хорошо поставленным голосом сообщал о грядущем съезде КПСС. Через некоторое время мать остановила машину, выключила мотор, вышла и, открыв мне дверь, предложила:

– Теперь пройди 108 шагов куда хочешь! Если ты это сделаешь, то докажешь, что достоин занимать место мужчины, если нет и сорвешь повязку, то ты только того и стоишь, что тех тряпок, которые вышвырнул в окно.

Я осторожно сделал первые шаги, громко отсчитывая, но про себя решив, что моя мать как была, так и осталась лишь полудикой дочерью сибирского золотоискателя. Через пять шагов я поскользнулся и съехал куда-то вниз, а поднявшись на ноги, очутился на совершенно ровной поверхности. Воспрянув духом, я смело прошагал еще сорок шагов.

– Уже почти половина? – но мать на мой вопрос ничего не ответила, и меня охватил ужас от такой отстраненности. Но я себя успокоил тем, что молчание, наверное, тоже часть

испытания. Еще через двадцать шагов я почувствовал, как у меня под ногами трескается лед, и от испуга бросился бежать, но тут же как вкопанный остановился – ветер, продувавший куртку и обжигавший щеки, явно был над водоемом, потому что так разбежаться на суше в наших местах он не сможет. И меня опять охватил ужас – разве моя мать могла поступить так жестоко, допустить, чтобы я утонул? И сам себе ответил: да.

– Ты пробежал тридцать шагов, тебе осталось еще восемь, – произнесла мать совсем рядом, и я сразу успокоился. Хоть и невидимая, она постоянно находилась поблизости. И я решил пройти остаток по кругу, ведь мне было сказано, что я могу идти куда хочу. Но когда я, счастливый, выдержав испытание, сорвал повязку, у меня задрожали колени – мои последние шаги были вокруг проруби. Мы с матерью стояли посередине замерзшего Киш-озера. Я, словно зачарованный, не мог отвести взгляд от черной глади проруби – пойдя я прямо, несомненно туда провалился бы.

– Ты выбрал самый опасный путь из всех возможных. Ты мог идти по лесу и в худшем случае набить пару шишек о сосны Межапарка, но ты вышел на лед. Более того, ты нашел эту прорубь, но в последний момент не свалился в нее. Очевидно, что у тебя способность выбрать самое опасное, оказаться на краю гибели, но в последний момент чудесным образом спастись. И это уже судьба.

Больше мать в тот день ничего не говорила. Мы никогда об этом не вспоминали. Все растаяло, словно сон, но с тех пор я уже не мог попасть в ту страну, где купался во всепрощающей материнской любви, в страну, где тебе рады без условий.

Однако надо признать и то, что мужские ботинки в нашем доме всегда теперь были только мои. Свою личную жизнь мать устраивала вне дома. Я свои права быть главой отстаивал.

Теперь, когда я думаю о ста восьми тысячах, которые упали на мой кипрский счет, меня охватывает тот самый ужас, какой я испытал, когда увидел черный глаз проруби. Я знаю, что не протяну руку, чтобы просто взять эти деньги. И только теперь осознаю, насколько глубоко сидит во мне этот страх. Кроме совпадения чисел меня настораживало еще одно обстоятельство, иного рода, почти техническое, но не менее важное – деньги на мой счет упали через день после смерти матери и, возможно, причина – в задержке перевода в самом банке, но, возможно, что перевод сделал кто-то другой... и у меня не было точного ответа, поэтому, увидев сумму на своем счете в личном кабинете, я больше в него с домашнего айпи-адреса не заглядывал. У любых крупных денег есть высоковольтное напряжение, и надо четко знать, какой требуется изоляционный материал, чтобы к ним прикасаться. Материал, который позволит их взять и остаться живым. И я должен выждать, прежде чем прикоснуться к деньгам, потому что, возможно, они мне подброшены как наживка. Козленок, которого охотники привязывают к дереву, чтобы выманить из джунглей тигра. И если я не хочу стать добычей, мне надо затаиться поблизости и ждать, потому что проиграет тот, кто первым обнаружит себя и выдаст, возможно, какой-нибудь незначительной мелочью, что знает о существовании денег. Не говоря уже о том, что это была единственная ниточка, которая могла привести к разгадке тайны убийства матери. Единственная. И все, что мне оставалось, – молчать и ждать. Когда у тебя завязаны глаза, шаги надо делать очень осторожно, если вообще делать.

П

ролом

Выйдя на улицу, я подхожу к арендованному «бентли». Невольно улыбаюсь, не без горечи. Ясмина. «Бентли». Все это было в другой жизни. Так давно, что и не вспомнить. Все, что занимало меня в последние годы, осталось там наверху, в клубном кресле госпожи Вилмы. У меня вдруг всплывает воспоминание об остром чувстве изгнания, которое я испытал однажды в детстве, когда после хоккейного матча вся команда объявила мне бойкот – я пропустил в ворота роковую шайбу, не позволившую нам стать чемпионами. Сплоченность в Риге носила особый характер. Это я тоже тогда усвоил на всю оставшуюся жизнь. Здесь

с тобой делили только удачи, горести каждый проживал в одиночестве. Такая устремленность к блеску и лоску, осознание того, что отношения держатся только на успехе, очень быстро перенаправило меня в русло обособленности, от чего я так и не сумел избавиться. Правда, я потом познал и иной род товарищества – в содружестве дайверов рисковать жизнью ради другого было само собой разумеющимся, – но все же детская травма навсегда избавила меня от желания рассчитывать на окружающих. Даже когда ты сам сделал для них все, что мог, и больше. Всегда оставаться один на один с бедой – вот судьба человека, выросшего в Риге. И вот эта судьба вновь настигла меня под окнами госпожи Вилмы.

Я съезживаюсь под порывом холодного ветра. Обхожу машину – к счастью, ничего не поцарапано – и опять безрадостно ухмыляюсь: что-то новенькое, прямо на глазах становлюсь бережливым. И расчетливым? Не получится ли так, что вскоре затоскую по простым человеческим чувствам? По тем, что возвращаются в троллейбусах и коммуналках? Я чувствую легкий укол, словно иголкой: как раз эту роскошь я теперь не могу себе позволить. Не могу!

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.